

УДК 37. 017.4
ББК 71.4(2)



This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2017 г. И. Е. Кознова
г. Москва, Россия

© 2017 г. С. А. Никольский
г. Москва, Россия

ПРОШЛОЕ В ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Аннотация: Формирование концепта коллективного целого, составной частью которого являются представления о прошлом, — неотъемлемая сторона культуры советского периода. Большевистский проект нового общества первоначально ориентировался на разрыв с национальным прошлым, но проявлял интерес к тем его аспектам, которые объединяли русскую революцию с соответствующими мировыми событиями. По мере социалистического строительства политика в области прошлого подверглась трансформации. Переформатирование образа прошлого проходило в духе доктрины национально-государственного патриотизма, хотя классовый подход по-прежнему сохранял свое значение.

Ключевые слова: культура, политика, прошлое, история, общественное сознание, революция, интернационализм, патриотизм.

Информация об авторах:

Ирина Евгеньевна Кознова — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора философии культуры, Институт философии Российской академии наук, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, 109240 г. Москва, Россия. E-mail: i.koznova@mail.ru

Сергей Анатольевич Никольский — доктор философских наук, главный научный сотрудник, руководитель сектора философии культуры, Институт философии Российской академии наук, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, 109240 г. Москва, Россия. E-mail: s-nickolsky@yandex.ru

Дата поступления статьи: 26.04.2016

Дата публикации: 15.03.2017

Различение прошлого и настоящего, ставшего предметом философских дискуссий еще в античности, для любой культуры любого исторического периода и каждого поколения становится активным коммуникативным процессом познания «другого». Начало понимания ценности прошлого как такового, свидетельствующее о его удаленности, «инаковости» и значительном многообразии связывается с Новым временем, с периодом возникновения европейских национальных государств. Прошлое в актуальном

бытию возникает, поскольку к нему обращаются, оно осознается как другое и первоначально означает всего лишь разрыв во времени. Однако постепенно прошлое в общественном сознании осознается все полнее и оказывается востребованным не только тогда, когда национальное единство возникает естественно в процессе развития социума, а когда определяется властью как актуальная задача. Именно такой случай — намеренного созидания — мы наблюдаем в России в первые десятилетия после Октября 1917 г. И задача эта оказалась вполне решаемой, поскольку обнаружилась непосредственная связь между формированием общенационального единства и изменением отношения общества к прошлому, призванному это единство легитимировать.

В исследованиях, посвященных складыванию национального дискурса о прошлом, выделяются разные типы повествования о нем — «героизация» и «виктимизация» прошлого, «ностальгия», «рессентимент», «нормализация» и «проработка прошлого».

Героизация прошлого, как правило, востребована в периоды складывания современных национальных государств и формирования национально-государственных мифологий. Официозный «большой нарратив» нации или государства представляет собой «канонический» унифицирующий рассказ о славных и великих победах и достижениях, что придает прошлому ореол сакральности. Не вписываемый в героический канон опыт различных групп, а также сюжеты, связанные с переживанием национальной вины или позора, замалчиваются, искажаются или вовсе вытесняются из публичной сферы. Противоположной стратегией по отношению к героизации является «виктимизация» прошлого. Она направлена на общественное признание и меморизацию «спрятанных», табуированных сторон прошлого, связанных, прежде всего, с травматическим опытом, страданиями, но при этом тоже не свободна от мифов.

Другую «пару» взаимно противоположных стратегий памяти составляют ностальгия и рессентимент, также подверженные мифологизации. В основании ностальгии лежит идеалистически переживаемый образ прошлого, в основании рессентимента — чувство обиды и негодования по поводу того или иного явления или события. В качестве специфической стратегии часто выделяют «нормализацию прошлого», заключающуюся в нейтрализации травматических воспоминаний, перевода их с уровня исключительности, уникальности на уровень обыденности.

Наконец, следует отметить такую стратегию, как «работа над прошлым», направленную на его критическое переосмысление и демифологизацию. Она представляет собой длительный и многоплановый процесс общенационального извлечения уроков из прошлого, его этическое переосмысление и основана на идее моральной ответственности человека за прошлое, собственной причастности к нему [16, с. 59–93; 28, с. 27–37].

Важнейшим критерием складывания национального дискурса и его отличия от таких, например, как династический или имперский, является понимание национального сообщества, во-первых, как единого языкового и культурного пространства, возникающего на основе интеграции в него

различных классов, слоев и сословий, и, во-вторых, как результат артикуляции публичной сферы [14, с. 126–128; 20, с. 7–14; 30, с. 175–177].

По этой причине, говоря о российском послеоктябрьском национальном дискурсе, необходимо отметить, что его формирование шло преимущественно в русле тотального насилия и репрессий. С одной стороны, имело место уничтожение или выдавливание из российского социума больших социальных групп в силу их «эксплуататорской природы»¹. С другой, по критериям отсутствия собственности и эксплуатируемости, шел процесс вознесения на вершину социальной пирамиды «низовых» социальных групп, а также создания на их основе того, что было названо единством рабочих и беднейших слоев крестьянства. Сказанное в полной мере относится и к рассматриваемому нами случаю построения советского послеоктябрьского социума, в котором имел место не только тщательно выполняемый подбор тем и идей, сопровождаемый соответствующими интерпретациями по отношению к прошлому далекому, но, возможно, в еще большей степени — к прошлому недавнему, близкому.

Изучение способов и форм повествования о прошлом, присущих российской культуре советского периода, представляет научный интерес для понимания современного восприятия прошлого. Внимание авторов настоящей статьи сосредоточено на том историческом отрезке 1918–1953 гг., когда закладывались основы советской культурной традиции в отношении прошлого.

Революционные события в России были созвучны характерной для эпохи тенденции «отрицания» культуры. Эта тенденция была пронизана идеями новизны, невозможности прежних культурных форм, конфликта поколений, кризиса исторического сознания, мироощущения разрыва с прошлым [21; 32]. Большевистский проект строительства новых общественных и культурных форм, формирования «нового человека» вписывался в названную тенденцию. Его императивом стала ориентация на будущее, радикальный разрыв с прошлым, что предполагало слом традиционных механизмов трансляции социально-культурного опыта. Это нашло, в частности, выражение в календарной реформе и реформе алфавита, ликвидации чинов и званий, демонтаже ряда монументов царского режима и возведении новых по плану монументальной пропаганды.

«Низы» подключались к созданию мифологизированного образа революции в разных формах. Проводившиеся в память о пролетарской революции масштабные, преимущественно в городских пространствах, празднества становились ареной символического противостояния «прошлого» и «настоящего». Также были популярны инсценировки судебных процессов над прошлым и его носителями. В 1920-е гг. активно создавался обширный

¹ Термин «эксплуататорская природа» взят в кавычки не потому, что, например, крупные промышленные или земельные собственники не были эксплуататорами, а потому, что термин без разбора применялся ко всем социальным группам, определенным властями в качестве враждебных.

мемуарный комплекс о революции и Гражданской войне. Фактически происходила квазиисторизация массового сознания.

В целом мемориальная калька была сделана по простой схеме: все до Октября было во вред «простому человеку», все после Октября — ему на пользу. В полной мере это относилось не только к формирующейся советской исторической науке, но и к отражению прошлого в художественных произведениях и кинематографе.

Так, например, в период 1920–1930-х гг. многие созданные в XIX в. классические литературные тексты рассматривались как негодные для целей новой идеологии. Под этим углом зрения кинематографисты смотрели, к примеру, на произведения А. С. Пушкина. Так, первый пушкинский фильм, поставленный в советское время, — «Коллежский регистратор» (1925 г., режиссеры Ю. Желябужский и И. Москвин, сценаристы В. Туркин и Ф. Оцеп) — представлял собой экранизацию повести «Станционный смотритель» из «Повестей покойного И. П. Белкина». Историками киноискусства фильм был отнесен к разряду кинематографических удач, в частности, была отмечена игра гениального И. Москвина в роли Самсона Вырина. В этом образе выдающийся актер Художественного театра стремился показать фигуру жалкого коллежского регистратора как обобщенное выражение «униженных и оскорбленных» — «низовых» людей самодержавной России. Правда, уже в 1930-е гг. фильм упрекали за излишний психологизм, слезливость, за подмену образов Пушкина «образами и настроениями Гоголя и Достоевского». Надо отметить, что этот упрек вообще был характерен для раннесоветского периода настороженного отношения к таким «амбивалентным» авторам, как Достоевский и Гоголь, тем более что создатели фильма действительно приблизили образ «маленького человека» к образам гоголевской «Шинели» и «Белых ночей» Достоевского, т. е. и в самом деле трактовали его «по-гоголевски». В позднейших исследованиях такое своеволие экранизаторов объяснялось тем обстоятельством, что киноинтерпретатор пушкинского «маленького человека» неизбежно должен был видеть станционного смотрителя в историко-литературной перспективе, считаясь как с предыдущей, так и с последующей эволюцией классического образа в отечественной литературе.

В случае с «Коллежским регистратором» внешний сдвиг к «гоголевской» трактовке «маленького человека» означал не только усиление разоблачительного пафоса по отношению к социальной среде, подавляющей «маленьких людей», но и создание нового локуса памяти о прошлом в его советской интерпретации. Так, например, похитивший дочь смотрителя гусар Минский и в особенности его собутыльники, в противоположность пушкинскому изображению, в фильме показаны как распутные дворянчики-трутни и изобличались как мелодраматические злодеи. Тем самым авторы кинопроизведения хотели акцентировать, как им казалось, социально-обличительный контекст повести и показать трагедию Вырина как столкновение социально близкого униженным и оскорбленным трудящегося человека с верхушкой дворянства. С этой целью в картину были введены эпизоды пьяного разгула офицеров, а также сцены грубых издевательств над стариком-отцом, пришедшим навестить дочь.

В соответствии с задачей создания советского варианта памяти о прошлом был написан и сценарий фильма по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», получившей в советском кинематографе название «Гвардии сержант». Автором его был выдающийся историк и теоретик литературы В. Шкловский. Правда, уже лет через десять он сам признавал ошибочность своей сценарной концепции, что также ставило под сомнение и позитивную ценность политической задачи. Что же до картины, то она получилась весьма показательной для системы ценностей новорожденного социума, преобразующего под свои цели великую русскую культуру. Об этом фильме, поставленном в 1928 г. Ю. Таричем, в аннотированном каталоге «Советские художественные фильмы» было, в частности, сказано, что сценарист и режиссер избрали путь «исправления» исторических ошибок, якобы присущих пушкинскому произведению. Сохранив фабульную канву повести, экранизаторы вводят ряд дополнений, «заново переписывают» образы основных героев, а «сценарист и режиссер модернизируют историческую концепцию произведения в духе школы Покровского» [24, с. 267–268].

Что касается самого В. Шкловского, то он в статье «Как ставить классиков» (1927), в соответствии с задачей создания советского нарратива памяти о прошлом, провозгласил кампанию их «массового исправления». Поскольку кино, подчеркивал Шкловский, — «великий искажитель», то с Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским нужно «бороться» по линии изменения сведений, которые они сообщают. В кино нужно создавать вещи, «параллельные произведениям классиков» [6, с. 75]. А поскольку «Капитанская дочка» Пушкина — кладезь «неправильных фактов», кинодраматург обязан сконструировать собственную «параллель» повести. По этому поводу режиссер Ю. Тарич заявлял: «Ввиду того, что общие установки и характеристика эпохи в “Капитанской дочке” <...> для нас, рассматривающих исторические явления с диаметрально-противоположной точки зрения, — оказались неверными и неприемлемыми, мы внесли ряд существенных корректур как в историческую часть повести, так и в бытовую» [6, с. 101].

Так, например, ужас пушкинского Петра Андреевича Гринева перед стихией беспощадного и бессмысленного русского бунта был не актуален для новой эпохи. Напротив, передовая советская художественная интеллигенция призывала этот бунт на головы дворянского сословия. В новой интерпретации персонажи символизировали собой определенный «классовый тезис». В фильме Петр Гринев олицетворял политику дворянской экспансии и отправлялся в Белогорскую крепость для захвата вольных крестьянских земель, а в финале этот ничтожный и трусливый дворянчик становился любовником Екатерины II. Напротив, романтически загадочный дворянин Швабрин в фильме был правой рукой Пугачева и едва ли не идейным последователем Радищева. Он был демократичен, держал себя с народом за просто, был облачен в армяк и просвещал Машу, читая ей сочинения французских материалистов. Одним из близких соратников Пугачева в фильме становился старый Савельич, а Гринев обнаруживал себя в качестве злодея

до такой степени, что исполнял пляску над еще не остывшим трупом своего верного слуги.

По Шкловскому, «Капитанская дочка» для того и была написана Пушкиным не от своего имени, а под маской простодушного и неумного Гринева, чтобы сгладить социальные противоречия, лежащие в основе пушкеевщины. Повесть якобы была сделана Пушкиным так, чтобы «не дать (не показать. — *И. К., С. Н.*) крепостное право», не дать заинтересованность дворян в наступлении на степь; ослаблены силы Екатерины в степи и вместо крепости дан какой-то загончик, в котором живут милые люди, обижаемые разбойниками. <...> Пушкин уже для своего времени лжет в своем произведении» [6, с. 104].

Наступившие во времена НЭПа относительные экономические свободы и идеологические послабления сопровождались наступлением на прежний образ жизни. Религиозность и старый быт как символы «мещанства» объявлялись «глубоко реакционной силой». Повседневной практикой 1920–1930-х гг. стали всевозможные «чистки», вынуждающие людей мимикрировать, утаивать или фальсифицировать «враждебное» с точки зрения режима прошлое. В обществе активно пропагандировалась неприязнь к национальному прошлому, а «патриотизм» признавался «наиболее реакционной идеологией» [2, с. 25–27; 11, с. 174–175; 12, с. 238–253; 15, с. 79–81; 29, с. 50–52].

Революция представлялась воплощением космогонического акта, и мысль навсегда выкорчевать прошлое России связывалась с формированием нового концепта коллективного целого. Его основой были атеизм, диктатура пролетариата и интернационализм, а способом воплощения — классовая борьба. Поэтому та сторона прошлого, которая определялась многовековой борьбой угнетенных масс против господствующих классов выходила на первый план. Эта сторона объединяла русскую революцию с мировыми (европейскими) процессами, позволяла большевикам вписаться в соответствующую традицию и генеалогически обосновать власть [23, с. 70–81; 29, с. 49–50; 30, с. 236–238]. В советской культуре шел поиск образов прошлого, соответствующих облику революционного настоящего страны и мирового революционного грядущего, формировалась его героическая версия, включая аспект героической жертвенности. «Вы жертвою пали...» — пелось в похоронном революционном марше И. М. Познера и А. И. Архангельского.

В этой связи не случаен пристальный интерес к истории Великой Французской революции, которая рассматривалась как средство политической мобилизации в защиту революции в России. Оценивавшиеся с классовых позиций революционные события полагались прототипом российских начала XX в., в них видели эмбрион пролетарской революции. Ретроспекция к XVIII в. превращалась в целенаправленное обоснование (и оправдание) историческим опытом «той» диктатуры вместе с террором необходимости «этой», советской диктатуры и террора [5, с. 30–71].

Выступая в 1927 г. в редакции «Комсомольской правды» по случаю 100-летней годовщины со дня смерти Бетховена, А. В. Луначарский отмечал: «Бетховен нам близок, так как мы — пролетарская юность, а он —

буржуазная юность... Революционер говорит: я не хочу подчиняться прошлым законам, даже закону природы, если эта природа осуждает меня на рабство... С помощью партитуры Бетховена Великая Французская революция сыграла гигантскую прелюдию к революционной музыке грядущего, музыке Великой Русской, а вместе с тем и международной революции» [22, с. 7–9].

Вопрос о массовой притягательности и эффективности подобного понимания прошлого является предметом дискуссии. Большевистская власть в первую очередь делала особую ставку на молодежь как на слой «избранных самой Историей» для «великих дел». Именно молодому поколению был, прежде всего, адресован продвигаемый правительственным историком М. Н. Покровским социологизированный образ исторического прошлого страны — «проклятого», «рабского», «позорного». Анализ публикаций на исторические темы, например, в «Комсомольской правде» за вторую половину 1920-х – начало 1930-х гг. показывает процесс активного вытеснения, «перекодирования» отечественной истории. Примечательно, что ее глубина составляла не более двадцати лет [11, с. 174–175; 12, с. 238–253], что вполне отвечало общей задаче идеологизации, политизации и военизации молодежи, которой были присущи агрессивные формы самоутверждения.

Характерны в этом плане и материалы первого советского массового общественно-политического и литературно-художественного журнала «Огонек». Так, постоянной темой его публикаций в 1920-е гг. были разнообразные «призраки прошлого» — всевозможные символы старого мира, а также различные «бывшие», маркировавшиеся как «уходящее прошлое». Не случайно в центре внимания «Огонька» оказалось творчество А. П. Чехова, которое признавалось «самым безошибочным путеводителем в царстве пережившего себя прошлого, которое нам нужно разрушить дотла, выжечь из быта» [17, с. 1–2].

Прошлое для «Огонька» укладывалось преимущественно во временные рамки XIX в. Наиболее распространенным оценочным словосочетанием того времени было «проклятое прошлое». Его героями-мучениками назывались, прежде всего, декабристы — предтечи большевиков, а их восстание рассматривалось как событие, уходящее корнями как в русскую, так и в общеевропейскую почву. Суждение об этом общественном событии А. И. Герцена, также назначенного в «предтечи» большевизма, игнорировалось. А было оно таково: «Народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана...» [4, с. 214]. «Антигероем» событий предстал Николай I — антагонист любой свободной мысли. Символом такого прошлого выступала, в частности, Петропавловская крепость. Наблюдая, как молодые экскурсанты перестукиваются между собой в камерах Трубецкого бастиона, автор очерка об экскурсии по крепости отмечал, что в тот момент слышался «глухой звук прошлого» [19, с. 1]. Этот звук становился символом того, что «царизм ушел в область преданий. Подлинную жизнь творит Революция» [26, с. 8–9]. И в ее облике просматрива-

лись интернациональные черты, отсылавшие к эпохе Просвещения. В очерке, посвященном 200-летию Лессинга, ему воздавалась дань как «одному из первых проповедников великих идей космополитизма, борьба за который не кончена и по сей день» [18, с. 4].

Социалистическое наступление рубежа 1920–1930-х гг. стало мощным аккордом в стратегии «разрыва с прошлым». В контексте сталинской «революции сверху» актуализированный и мифологизированный образ прошлого до середины 1930-х гг. был связан преимущественно с политическими потрясениями первых двух десятилетий XX в. Именно в этот период в СССР, благодаря неустанным усилиям И. Сталина, складывался и утверждался идеологический канон — культура партийности с ее принципами унификации, неприятия инакомыслия, альтернативных трактовок, распространявшая на массовое сознание и научные знания методы классовой борьбы. Культ личности становился могучим рычагом утверждения культуры партийности.

Используя мобилизующий потенциал недавнего прошлого, основанного на идее классового противостояния, власть рассматривала его с точки зрения его же объединяющих возможностей для формирования массового энтузиазма в целях социалистического строительства и поддержки режима. И вновь ставка делалась на молодежное самоутверждение. Произошедшая реабилитация истории как науки и как образовательного предмета также отвечала сложившимся условиям.

При этом обращает на себя внимание происходивший двойной разрыв в одно и то же время и с недавним относительно плюралистичным советско-нэповским и с дореволюционным прошлым. Под влиянием доктрины строительства социализма в «одной, отдельно взятой стране» концепция мировой революции претерпела существенную трансформацию. Основной в ней стала идентификация Советского Союза с «осажденной крепостью», а всего остального, находившегося за ее пределами — с «враждебным окружением», равно как и подчеркивание исключительности СССР, противопоставление его остальному миру. Так, сформулированный в 1931 г. сталинский постулат о «коренной противоположности» «буржуазной» (уже не «великой») Французской революции и «социалистической» Октябрьской (напротив, Великой) сделался партийной директивой. Французская революция объявлялась антиподом революции в России по важнейшему ценностному критерию освобождения от эксплуатации, оттеняя тем самым достижения Советской власти. Вся эпоха XIX–XX вв. представлялась поступательным шествием социализма. Развенчание Французской революции, поставленной в один ряд с другими «буржуазными» революциями и заодно с «буржуазной» и «мелкобуржуазной» демократиями, акцентирование «буржуазной ограниченности», нигилистическое отношение к общечивилизационным ценностям подавалось как часть «победоносного» строительства социализма. А гражданская война в России и предшествовавший ей захват власти органично включались в сталинскую теорию революций как закономерной смены общественно-экономических формаций. Постоянное обострение классовой борьбы, необходимость ужесточения диктатор-

ского режима и террора — вот главное, что должен был усвоить советский человек из опыта Французской революции [5, с. 76–115].

Вместе с тем в трактовке российского прошлого в 1930-е гг. существовала определенная преемственность с 1920-и гг. Она была направлена на разоблачение «проклятого прошлого», связанного с «извечной» и всеобъемлющей национальной отсталостью, акцентировала разрыв с дореволюционным прошлым, по отношению к которому употреблялись формулировки «царизм-тюрьма народов», «международный жандарм», «колонизаторская роль русского царизма» и т. п. [2, с. 48–56; 5, с. 109–110; 15, с. 81–82].

В то же время предлагаемое массовому восприятию прошлое в журнале «Огонек» хронологически ограничивалось XIX в., а нередко даже сужалось до предреволюционного времени. Однако в любом случае речь шла о «трагедии народа, угнетенного царизмом», о «лучших людях, замученных самодержавием», о «тяжелой участи писателей в царской России». Что до более отдаленного прошлого, например, до XVIII в., то оно воспринималось сквозь призму анекдота или фарса. Как отмечалось в одной из публикаций «Огонька», «пролетариат должен знать свое прошлое», под которым имелась в виду «предреволюционная жизнь и борьба отцов и дедов нынешнего пролетарского читателя» [13, с. 2].

Что же до самого Сталина, то он выступал главным героем предреволюционной борьбы. Так, например, в 1935 г. в связи с 20-летием Первой русской революции, значительное внимание в «Огоньке» уделялось именно закавказским событиям. Складывался пантеон героев Гражданской войны, среди которых были как здравствовавшие в те годы К. Ворошилов и С. Буденный, так и погибшие — В. Чапаев, Г. Котовский, Н. Щорс. Разумеется, и здесь главным героем был Сталин. Вложенный в уста Н. Щорса поведенческий императив революционного прошлого звучал следующим образом: «Революция диктует, советская власть приказывает, а мы должны исполнять» [1, с. 2].

В то же время следует отметить, что подобная пропагандистская кампания, в основе которой лежала идея усиления классовой борьбы, встретила определенные трудности в условиях Большого террора: революционная история оказалась «непредсказуемым прошлым». Фактически же, имея в виду связанную с репрессиями атмосферу в стране, это было прошлое, которое «не уходит в прошлое», а, напротив, задавало тон настоящему. К тому же идеологическое содержание пропаганды усваивалось массовым сознанием избирательно [2, с. 132–135; 8, с. 12–18, 73]. При таких обстоятельствах перед партийным руководством возникла необходимость поисков приемлемого для массового сознания прошлого «поверх» исторического перелома 1917 г., за пределами «советского опыта», наследником которого общество могло себя представить и отнестись к которому должно было как к «безобидному» [29, с. 180] или даже «полезному» [2, с. 56–57]. При этом основным мотивом патриотического пересмотра прошлого была идея «победившего социализма», поскольку, исходя из нее, лишенная героического прошлого «никчемная нация» не могла осуществить великую революцию, построить новое общество и быть готовой отстаивать его завоевания.

Контуры нового видения прошлого проявились и в гармонизации новых советских ценностей с традиционными. Так, была выдвинута концепция «культурности», в которой культурные заимствования из прошлого заняли вполне определенное место. Новая Конституция 1936 г. провозглашала право каждого на «смывание клейма прошлого», связанного с ответственностью за социальное происхождение и дореволюционный социальный статус [3, с. 194–213; 8, с. 127–131; 27, с. 24–27, 53–57].

В предвоенные годы происходила переоценка национальной традиции, одним из следствий которого сделалось дополнение и доминирование классового подхода «государственным патриотизмом». Выступив основным связующим звеном в идеологии нового партийно-государственного курса, прошлое расширилось, ушло в глубь веков. В новой концепции подчеркивались непрерывность и преемственность национальной истории, в ее основе лежали представления о сильном централистском государстве и исторической личности. Произошла «советизация» («национализация») образов ряда исторических деятелей отечественного прошлого — великих князей, государей, полководцев. Был восстановлен в правах смысл понятий «родина», «великая Русь», ослабла антирелигиозная пропаганда. При этом создававшаяся в 1930-е гг. и просуществовавшая в основном виде до середины 1950-х гг. концепция прошлого отличалась противоречивостью на теоретическом и событийном уровнях, была избирательной и во многом мифологизированной.

Народность и патриотизм как ключевые культурные доминанты, выдвинувшиеся со второй половины 1930-х гг., вызывали к жизни новых героев, включая былинно-фольклорных. Характерна, например, посвященная Илье Муромцу публикация «Огонька» в № 16/17 за 1937 г., особенно на фоне помещенного там же Приговора Специального военного присутствия Верховного Суда СССР по делу об «антисоветской троцкистской военной организации» («дело Тухачевского»). К. Минин и Д. Пожарский представляли как «слуги народа», а Минин преподносился еще и в качестве «организатора» и даже «человека будущего» [31, с. 19].

С конца 1930-х гг. в массовой пропаганде заметным явлением стало «сгущение» исторической символики, связанной с обороной страны [12, с. 248–253]. Ее отличительной особенностью было обращение к «историческому прошлому», границы которого словно раздвинулись. Целью публикаций «Огонька» за 1938–1939 гг., посвященных «Слову о полку Игореве», Куликовской, Полтавской и другим битвам, было показать «неописуемую храбрость русского солдата», «славу русского оружия» в прошлом, подтвердить слова наркома Ворошилова, сказанные им 1 мая 1939 г., что «наш народ <...> не только умеет, но и любит воевать». Показательны в этом плане ряд публикаций в номерах за 1937 г. под общим заголовком «Эпизоды будущей войны», неоднократные упоминания о падении Берлина в 1760 г. в ходе Семилетней войны, прекратившиеся в соответствии с политической конъюнктурой в конце августа 1939 г. и возобновленные вновь уже во время Великой Отечественной войны.

Задача реформатирования в новом духе образа прошлого распространялась на историографию, литературу и искусство. Особая роль в уста-

новлении непосредственной связи исторических символов с событиями и лицами новейшего времени принадлежала кинематографу. При этом, например, патриотический кино-дискурс 1938 г. об Александре Невском — символическом репрезентанте вождя — уподоблялся национальному дискурсу XIX в., питался идейным наследием, прежде всего, николаевской эпохи [7, с. 56, 57; 30, с. 281–352], хотя по версии сталинского исторического конструктивизма, именно эта эпоха позиционировалась в качестве «контрэпохи», квинтэссенции зла и мракобесия.

«Огоньковские» номера за победный 1945 г. в плане военно-героической презентации прошлого были особенно впечатляющими. Не было, казалось, ни одного сражения, ни одного имени полководца, которое бы не звучало в тот год: Куликово поле и Полтава, Чесма и Кагул, Бородино и Плевна, Суворов и Румянцев, Кутузов и Нахимов. Прошлое превращалось в Настоящее и февральские исторические хроники «Огонька» о «гнезде тевтонов» в Восточной Пруссии (№ 5) или «Мы уже бывали в Берлине» (№ 6–7) трансформировались в апреле-мае в репортажи с места событий.

Война и победа в ней по-новому расставили акценты в начавшемся с конца 1930-х гг. повороте в отношении прошлого. Апелляция к патриотическим чувствам народа явно потеснила прежние призывы в духе «пролетарского интернационализма». Ставилась задача возвеличивания национального прошлого. При этом доктрина национально-государственного патриотизма все более обретала вид имперской державности. Создание, укрепление и, главное, расширение Российской империи, с которой идентифицировал себя сталинский режим, представлялось важнейшим позитивным процессом; подчеркивалась ведущая роль в нем русского этноса. А некоторые царствующие особы (в частности, Иван Грозный) представлялись воплощением лучших свойств русского народа [2, с. 294–298; 5, с. 133–139; 29, с. 175, 180–184, 266–267].

В результате победы в войне СССР стал мировой державой, но его руководство никак не могло уйти от образа «осажденной крепости», идеи строительства «социализма в одной стране». Победа в войне породила иллюзии, способствовала восстановлению абсолютной власти вождя. В то же время имперские амбиции сталкивались с массовыми ожиданиями перемен на фоне предельного обнищания населения и его недовольства. Исследователи справедливо отмечают слабость демократических традиций во внутренней жизни страны, отсутствие массового социального носителя идей перемен. И все же пробудившаяся во время войны способность людей свободно мыслить, критически оценивать ситуацию, ростки политического инакомыслия, пробивающийся процесс «стихийной десталинизации», в частности, среди молодого поколения, представляли для режима потенциальную опасность [5, с. 150–160; 10, с. 23–49, 102–110, 137–154].

Изоляционизм, «железный занавес» виделся власти единственным средством противодействия этим настроениям, которые все настойчивее квалифицировались как «пережитки капитализма» в сознании людей, а следовательно, как враждебные, ориентирующие на чуждые, антинациональные образцы. Поэтому хотя, казалось бы, революционная и имперская традиции противостояли друг другу, в действительности обе оказались

задействованы в новой крупномасштабной кампании борьбы с инакомыслием. Энергия недовольства была переключена на поиски очередных врагов — внешних и внутренних, «очернителей» прошлого страны и народа. В итоге возобладал классовый подход, принцип партийности, а не исходный для советской культурной традиции интернационализм, на который навешивался идеологический ярлык «космополитизма», «низкопоклонства перед иностранцами (Западом)». Образу «заграницы» как смертельного врага была придана историческая глубина. В создаваемой специфической картине русской истории иностранное влияние разоблачалось. В особенности это делалось в отношении интеллигенции, которая сознательно подавалась пропагандой как оппозиционная народу [5, с. 160–174; 10, с. 183–210]. В то же время недавнее предвоенное прошлое входило в повседневность, напомнив о себе очередным витком репрессий в 1949–1953 гг., «судами чести», идеологическим диктатом.

Переводя идеологические новации на язык масс, «Огонек», к примеру, стремился показать «вековечную мудрость народа», которая выступала в качестве неоспоримой силы русского национального искусства и литературы. По-прежнему сквозной темой был ратный героизм («русский народ всегда был превосходным воином»), задавала тон героика и применительно к задачам мирного восстановления. Не случайно, например, внимание «Огонька» на протяжении 1946–1951 гг. к творчеству В. Сурикова, с точки зрения журнала, «самого народному из всех русских художников», утверждавшему «героическое начало русского народа и его истории». Представленные им «идеалы исторических типов» — мощные, сильные духом, вольные, смелые, отважные, непокорные, нестигаемые, «яркие сердцем» «чудо-богатыри» подтверждали «великие, неисчерпаемые силы народа», служили образцами, востребованными как на поле брани, так и на хлебном поле, на заводе или на стройке.

В не меньшей степени журнал пропагандировал и классовый подход. Заданный И. В. Сталиным акцент в его речи перед избирателями 9 февраля 1946 г. (победа в войне определялась крепостью советского общественного строя) вновь нацелил массовую пропаганду на образы революции и социалистического созидания. Так, в «Огоньке» «мерзостям крепостнического и буржуазно-дворянского прошлого», «мрачным годам царизма» (а точнее, всему XIX столетию), символом которых выступало царствование последнего русского императора, противопоставлялось руководимое партией и вождем великое народное действие — строительство нового общества, «светлого дома». Его художественным воплощением стал кинофильм «Клятва» (1946).

Балансирование власти между различными версиями прошлого в 1930–1950-е гг. позволяет предположить, что потенциал мифологизации прошлого в рамках существовавшей парадигмы если и не исчерпывался, то завершал определенный цикл. Именно поэтому образы прошлого все сильнее подчинялись образу коммунистического будущего — «сталинскому маршруту истории» [9, с. 3].

Вступление человечества во вторую половину XX в. и партийный курс на строительство коммунизма устанавливали свою связку между про-

шлым, настоящим и будущим: «На рубеже второй половины века мы, советские люди, с чувством патриотической гордости сравниваем свое прошлое со своим настоящим <...> Мы зажгли над миром в начале XX в. солнце будущего. Вторая половина века будет годами окончательной победы коммунизма над черными силами капитализма» [25, с. 2].

* * *

Проблема политического использования прошлого в советской России не потеряла своей актуальности и в наши дни в форме борьбы за ум и душу современного человека между представителями авторитарного государства и нарождающимся гражданским обществом. Ресурсом для обоих является культура. Но если для граждан культура в ее высоком и содержательном состоянии — неисчерпаемый источник, то для адептов авторитаризма она инструмент, посредством манипуляций с которым можно на время обмануть несведущих. Перспективы, открывающиеся после победы каждой из этих сил, очевидны сами по себе. Вот почему, чем скорее манипуляциям с политическим использованием прошлого будет положен предел, тем скорее в выигрыше окажутся общество и государство России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 *Абольников С.* На родине Щорса // *Огонек*. 1935. № 12. С. 2.
- 2 *Бранденбергер Д. Л.* Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). СПб.: ДНК, 2009. 416 с.
- 3 *Волков В. В.* Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // *Социологический журнал*. 1996. № 1–2. С. 194–213.
- 4 *Герцен А. И.* О развитии революционных идей в России. Произведения 1851—1852 годов // *Герцен А. И.* Собр. соч.: в 30 т. М.: Академия наук СССР, 1956. Т. 7. 467 с.: ил., портр.
- 5 *Гордон А. В.* Великая французская революция в советской историографии. М.: Наука, 2009. 380 с.
- 6 *Гуральник У. А.* Русская литература и советское кино. Экранизация классической прозы как литературоведческая проблема. М.: Наука, 1968. 431 с., 8 л. фот.
- 7 *Добренко Е.* Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 424 с.
- 8 *Дэвис С.* Мнение народа в сталинской России: террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941 / пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2011. 231 с.
- 9 *Заславский Д.* Сталинский маршрут истории // *Огонек*. 1949. № 45. С. 3–4.
- 10 *Зубкова Е. Ю.* Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М.: РОССПЭН, 1999. 229 с.
- 11 *Иголкин А. А.* Историческая память как объект манипулирования (1925–1934 гг.) // *Россия-XXI*. 1996. № 3–4. С. 160–184.
- 12 *Иголкин А. А.* Символы исторической памяти на страницах советских газет в 1925–1939 гг. // *Труды Института Российской истории*. М.: Наука, 2006. Вып. 6. С. 238–257.

- 13 *Кармен Л. О.* К пятидесятилетию со дня смерти писателя // Огонек. 1935. № 17. С. 2–3.
- 14 *Кознова И. Е.* Народ. Власть. Прошлое — Проблемы российского самосознания: народ, интеллигенция, власть. Материалы VIII Всероссийской конференции (Москва — Уфа, май-июнь 2011 года). М.; Уфа: РИО ЯГПУ, 2011. С. 126–136.
- 15 *Копосов Н. Е.* Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 320 с.
- 16 *Леонтьева О. Б.* «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М.: ИВИ, 2015. Вып. 50. С. 59–96.
- 17 *Луначарский А. В.* Чехов в наши дни // Огонек. 1929. № 27. С. 1–2.
- 18 *Магит А.* Первый поэт-интернационалист. К 200-летию со дня рождения Лессинга // Огонек. 1929. № 2. С. 4.
- 19 *Маллори Д.* Проклятое прошлое // Огонек. 1928. № 48. С. 1.
- 20 *Никольский С. А.* Русская интеллигенция, власть, народ: историческая роль и воображаемая миссия // Проблемы российского самосознания: народ, интеллигенция, власть. Материалы 8-й Всероссийской конференции (Москва — Уфа, май-июнь 2011 года). М.; Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. С. 7–16.
- 21 *Паперный В.* Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 416 с.
- 22 Почему Бетховен нам близок? Из речи А. В. Луначарского // Огонек. 1927. № 12. С. 7–9.
- 23 *Рольф М.* Советские массовые праздники / пер. с нем. М.: РОССПЭН, 2009. 439 с.
- 24 Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. М.: Искусство, 1961. Т. 1: Немые фильмы (1918–1935). 527 с.
- 25 *Сурков А.* Век Ленина и Сталина // Огонек. 1951. № 1. С. 1–2.
- 26 *Торопов А.* Петропавловка. К 225-летию основания Петропавловской крепости // Огонек. 1929. № 15. С. 8–9.
- 27 *Фицпатрик Ш.* Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. М.: РОССПЭН, 2011. 375 с. с ил.
- 28 *Хмелевская Ю.* Поколение как генератор памяти: о «технических» характеристиках, продуктивности и сфере применения // «Работа над прошлым»: XX век в коммуникации и памяти послевоенных поколений Германии и России. Челябинск: Каменный Пояс, 2014. С. 27–37.
- 29 *Хоскинг Дж.* Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 544 с.
- 30 *Шенк Ф. Б.* Александр Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой (1263–2000) / пер. с нем. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 592 с.
- 31 *Шкловский В.* «Минин и Пожарский» // Огонек. 1939. № 5. С. 18–19.
- 32 *Якимович А. К.* Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира. М.: Искусство, 2003. 491 с.

© 2017. Irina E. Koznova
Moscow, Russia

© 2017. Sergey A. Nikolsky
Moscow, Russia

PAST IN POLITICS AND CULTURE OF SOVIET RUSSIA

Abstract: The formation of the concept of the collective whole, part of which are representations of the past, is an integral aspect of the Soviet period's culture. Bolshevik's project of a new society was originally oriented toward the break with the national past, but showed interest in those its aspects which associated the Russian Revolution with appropriate world events. In the course of the socialist construction, the policy of the past has undergone a transformation. Reformatting of the past's image was carried out in keeping with the doctrine of national-state patriotism, but the class approach still retained its value.

Keywords: culture, politics, history, social consciousness, revolution, internationalism, patriotism.

Information about the authors:

Irina E. Kozniva, DSc in History, Leading Researcher of Department of Philosophy of Culture, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Goncharnaya St., 12, build. 1, 109240 Moscow, Russia. E-mail: i.koznova@mail.ru

Sergey A. Nickolsky, DSc in Philosophy, Chief Research Fellow, Head of Department of Philosophy of Culture, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Goncharnaya St., 12, build. 1, 109240 Moscow, Russia. E-mail: s-nickolsky@yandex.ru

REFERENCES

- 1 Abol'nikov S. Na rodine Shchorsa [At Shchors's homeland]. *Ogonek* [Flame], 1935, no 12, p. 2 (In Russian)
- 2 Brandenberger D. L. *Stalinskaiia massovaia kul'tura i formirovanie russkogo natsional'nogo samosoznaniia (1931–1956 gg.)* [The Stalinist mass culture and the formation of Russian national identity (1931–1956)]. St. Petersburg, DNK Publ., 2009. 416 p. (In Russian)
- 3 Volkov V. V. Kontsepsiia kul'turnosti, 1935–1938 gody: sovetskaia tsivilizatsiia i povsednevnost' stalinskogo vremeni [The concept of culture, 1935–1938 years: the Soviet civilization and everyday life of the Stalin era]. *Sotsiologicheskii zhurnal* [Journal of Sociology], 1996, no 1–2, pp. 194–213 (In Russian)
- 4 Gertsen A. I. *O razvitiu revoliutsionnykh idei v Rossii* [On the development of revolutionary ideas in Russia]. Collected works: in 30 volumes. Moscow, Akademiia nauk SSSR Publ., 1954. Vol. 7. 467 p.: illustrations, portraits. (In Russian)

- 5 Gordon A. V. *Velikaia frantsuzskaia revoliutsiia v sovetskoi istoriografii* [The French Revolution in the Soviet historiography]. Moscow, Nauka Publ., 2009. 380 p. (In Russian)
- 6 Gural'nik U. A. *Russkaia literatura i sovetskoe kino. Ekranizatsiia klassicheskoi prozy kak literaturovedcheskaia problema* [Russian literature and Soviet cinema. Screen adaptation of the classic prose as a literary problem]. Moscow, Nauka Publ., 1968. 431 p., 8 leaves of photos. (In Russian)
- 7 Dobrenko E. *Muzei revoliutsii: sovetskoe kino i stalinskii istoricheskii narrative* [Museum of the Revolution: Soviet cinema and Stalin's historical narrative]. Moscow, New literary review Publ., 2008. 424 p. (In Russian)
- 8 Devis S. *Mnenie naroda v stalinskoi Rossii: terror, propaganda i inakomyslie, 1934–1941* [Opinion of the people in Stalin's Russia: Terror, advocacy and dissent, 1934–1941], translation from English. Moscow, ROSSPEN Publ., 2011. 231 p. (In Russian)
- 9 Zaslavskii D. *Stalinskii marshrut istorii* [Stalin's rout of history]. *Ogonek* [Flame], 1949, no 45, pp. 3–4. (In Russian)
- 10 Zubkova E. Iu. *Poslevoennoe sovetskoe obshchestvo: politika i povsednevnost'. 1945–1953* [The post-war Soviet society: politics and everyday life. 1945–1953]. Moscow, ROSSPEN Publ., 1999. 229 p. (In Russian)
- 11 Igolkin A. A. *Istoricheskaiia pamiat' kak ob'ekt manipulirovaniia (1925–1934 gg.)* [The historical memory as an object of manipulation (1925–1934 gg.)]. *Rossii-XXI* [Russia-XXI], 1996, no 3–4, pp. 160–184. (In Russian)
- 12 Igolkin A. A. *Simvoly istoricheskoi pamiati na stranitsakh sovetskikh gazet v 1925–1939 gg.* [Symbols of historical memory in the pages of Soviet newspapers in the 1925–1939]. *Trudy Instituta Rossiiskoi istorii*. [Proceedings of the Institute of Russian History]. Moscow, Nauka Publ., 2006, vol. 6, pp. 238–257. (In Russian)
- 13 Karmen L. O. (K piatnadsatiletiiu so dnia smerti pisatel'ia) [To the fifteenth anniversary of the writer's death]. *Ogonek*, 1935, no 17, pp. 2–3. (In Russian)
- 14 Koznova I. E. *Narod. Vlast'. Proshloe* [People. Power. Past]. *Problemy rossiiskogo samosoznaniia: narod, intelligentsiia, vlast'. Materialy VIII Vserossiiskoi konferentsii (Moskva — Ufa, mai-iiun' 2011 goda)* [Problems of Russian self-consciousness: people, intellectuals, power. Proceedings of VIII All-Russian Conference (Moscow — Ufa, May-June 2011)]. Moscow; Ufa, RIO AGPU Publ., 2011, pp. 126–136. (In Russian)
- 15 Kuposov N. E. *Pamiat' strogogo rezhima: Istoriia i politika v Rossii* [Memory of a strict regime: history and politics in Russia]. Moscow, New literary review Publ., 2011. 320 p. (In Russian)
- 16 Leont'eva O. B. «Memorial'nyi povorot» v sovremennoi rossiiskoi istoricheskoi nauke [“Memorial turn” in modern Russian historic science]. *Dialog so vremenem: Al'manakh intellektual'noi istorii*. Vyp. 50.

- [Dialogue with time: Almanac of intellectual history. Issue 50]. Moscow, IVI Publ., 2015, pp. 59–96. (In Russian)
- 17 Lunacharskii A. V. Chekhov v nashi dni [Chekhov nowadays]. *Ogonek*, 1929, no 27, pp. 1–2 (In Russian)
- 18 Magit A. Pervyi poet-internatsionalist. K 200-letiiu so dnia rozhdeniia Lessinga [The first poet-internationalist. To the 200-th anniversary of the birth of Lessing]. *Ogonek*, 1929, no 2, p. 4 (In Russian)
- 19 Mallori D. Proklatoe proshloe [Cursed past]. *Ogonek*, 1928, no 48, p. 1. (In Russian)
- 20 Nikol'skii S. A. Russkaia intelligentsiia, vlast', narod: istoricheskaia rol' i voobrazhaemaia missiia [The Russian intelligentsia, the power, the people: historical role and imaginary mission]. *Problemy rossiiskogo samosoznaniia: narod, intelligentsiia, vlast'. Materialy VIII Vserossiiskoi konferentsii (Moskva — Ufa, mai-iiun' 2011 goda)* [Problems of Russian self-consciousness: the people, the intellectuals, the power. Proceedings of VIII All-Russian Conference (Moscow — Ufa, May-June 2011)]. Moscow; Ufa, RITs BashGU Publ., 2011, pp. 7–16. (In Russian)
- 21 Papernyi V. *Kul'tura Dva* [Culture Two]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2016. 416 p. (In Russian)
- 22 Pochemu Betkhoven nam blizok? Iz rechi A. V. Lunacharskogo [Why Beethoven is close to us? From the speech of A. V. Lunacharsky]. *Ogonek*, 1927, no 12, pp. 7–9. (In Russian)
- 23 Rol'f M. *Sovetskie massovyie prazdniki* [Soviet mass celebrations], translated from the German. Moscow, ROSSPEN Publ., 2009. 439 p. (In Russian)
- 24 *Sovetskie khudozhestvennyie fil'my. Annotirovannyi catalog*. [Soviet movies. Annotated catalog]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1961. Vol. 1: Silent movies (1918–1935). 527 p. (In Russian)
- 25 Surkov A. Vek Lenina i Stalina [Century of Lenin and Stalin]. *Ogonek*, 1951, no 1, pp. 1–2. (In Russian)
- 26 Toropov A. Petropavlovka. K 225-letiiu osnovaniia Petropavlovskoi kreposti [Peter and Paul Fortress. By the 225th anniversary of the Peter and Paul Fortress]. *Ogonek*, 1929, no 15, pp. 8–9. (In Russian)
- 27 Fitspatrik Sh. *Sryvaite maski! Identichnost' i samozvanstvo v Rossii XX veka* [Take off the masks! Identity and imposture in Russia of the XX century]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2011. 375 p. with illustrations. (In Russian)
- 28 Khmelevskaia Iu. Pokolenie kak generator pamiati: o «tekhnicheskikh» kharakteristikakh, produktivnosti i sfere primeneniia [Generation as a generator of memory: on the “technical” characteristics, productivity and scope of application]. «*Rabota nad proshlym*»: *XX vek v kommunikatsii i pamiati poslevoennykh pokolenii Germanii i Rossii* [“Work over the past:” the XXth century in the communication and memory of the post-war generation in Germany and Russia]. Chelyabinsk, The Stone Zone Publ., 2014, pp. 27–37. (In Russian)
- 29 Khosking Dzh. *Praviteli i zhertvy. Russkie v Sovetskom Soiuze* [Rulers and victims. Russian in the Soviet Union]. Translation from English. Moscow, New literary review Publ., 2012. 544 p. (In Russian)

- 30 Shenk F. B. *Aleksandr Nevskii v russkoi kul'turnoi pamiati: Sviatoi, pravitel', natsional'nyi geroi (1263–2000)* [Alexander Nevsky in Russian cultural memory: the Saint, the ruler, the national hero (1263–2000)], translated from the German. Moscow, New literary review Publ., 2007. 592 p. (In Russian)
- 31 Shklovskii V. «Minin i Pozharskii» [“Minin and Pozharsky”]. *Ogonek* [Flame], 1939, no 5, pp. 18–19. (In Russian)
- 32 Iakimovich A. K. *Dvadtsatyi vek. Iskusstvo. Kul'tura. Kartina mira* [20th Century. Art. Culture. Picture of the world]. Moscow, Iskusstvo Publ., 2003. 491 p. (In Russian)